

# Содержание

Предисловие .....	5
Предисловие автора (печатается в сокращении) .....	7
И возвращается ветер... ..	9



# Предисловие

Даже в самые темные времена истории находились храбрцы, дерзающие выступить в защиту гонимых и беззащитных, рыцари без страха и упрека, радеющие не только за «други своя», но за права и достоинство каждого человека.

Таким борцом был Владимир Буковский. Он совсем не боялся властей предержавших и не стремился к личной славе. Он не видел ничего героического в своей деятельности, считая, что поиск правды — нормальное поведение нормального человека.

Читая «И возвращается ветер...», можно только удивляться, каким незлобивым человеком был Буковский. Это книга о борьбе с несправедливостью и ложью, путеводитель по тюрьмам и лагерям, к которым пролегла дорога, а не декларация ненависти к его мучителям.

За сорок с лишним лет нашей дружбы я ни разу от него не слышала жалоб на судьбу, потому что он сознательно избрал эту стезю. Благодаря его усилиям мир узнал холодящие душу подробности о преследованиях инакомыслящих в бывшем СССР, в частности о чудовищных злоупотреблениях психиатрией, насильственных инъекциях сильнодействующих нейролептиков здоровым, но «строптивым» диссидентам, об изобретении пресловутого «диагноза» «вялотекущая шизофрения», на основании которого здоровых людей загоняли в психушки.

Тирания больше всего боится правды, поэтому неудивительно, что, не сумев его сломить, власть выдворила Буковского за границу прямо из тюрьмы в наручниках, обменяв на заключенного чилийского коммуниста. А вся страна уже

через пару дней, смеясь, повторяла быстро ставшую расхожей частушку: «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана...» Смеха тираны тоже не терпят.

Книга Буковского — это чтение не для слабонервных. Но его свидетельство представляет собой живой голос, яркое наизидание потомкам, а не школьный учебник истории. Книга отражает честный взгляд автора на историю своей страны без прикрас и умолчаний, трезвый анализ прошлого, поскольку прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего.

Несмотря на трагическое содержание книги в целом, многие ее страницы не лишены юмора и проблесков надежды на то, что правда о темной стороне истории приведет к ее осмыслению и стремлению не повторять ошибок прошлого.

Учитывая нынешнюю накаленную международную обстановку, переиздание этой книги исключительно своевременно. Она напоминает о тьме, которая готова охватить и уничтожить все живое, если ветер опять вернется на круги своя. Наряду с новыми угрозами проснулись и старые риски из подзабытой истории, которые нельзя игнорировать.

Книга отражает уверенность автора, что все пережитое было не зря, веру в благополучный исход борьбы за права и достоинство человека, надежду на то, что семья, посеянное не побоявшимися сильных мира сего, в итоге принесет урожай истинной свободы и справедливости.

**Елена Глебовна Кожевникова**  
(урожденная Бердникова),

экс-руководитель первого бюро «Радио Свобода» в Москве,  
создатель и руководитель информационной службы  
Кестон-колледжа (Великобритания), журналист, переводчик

*Лондон, 2024*

# Предисловие автора

[печатается в сокращении]

Книга не принадлежит автору, а, выйдя из его рук, живет своей судьбою, от автора не зависящей. Мы лишь запускаем ее в мир, как бумажный кораблик по весеннему ручейку, а уж к каким берегам его прибьет, где он застрянет, где проскочит — того нам не угадать.

Приключения начались уже с названия. Первоначальный вариант — «И возвращается ветер...» — подсказал мой старший солагерник, а тогда обитатель Земли Пророков, Иосиф Мешенер. Однако, кроме Франции и Италии, этот вариант нигде не прижился. Особенно упорно спорили английские и американские издатели: в их странах, видите ли, никто Книги Екклесиаста не знает. Так появилось новое название — *To Build a Castle* («Построить замок»), — подсказанное Татьяной Максимовной Литвиновой.

Немцам же не понравились оба варианта, и они придумали свое, этакое длиннющее немецкое словечко, в переводе означающее «Тот-самый-ветер-который-дует-с-гор-когда-на-реках-ломается-лед». Голландцы, и того хуже, ни слова мне не сказав, попытались объединить оба символа, и получился у них не то замок под ветром, не то ветер под замком. Ну а что там насочиняли японцы, я, видимо, никогда не узнаю.

Так и поплыл мой кораблик, меняя на ходу флаги. В одних странах его встречали бурно, в других он прошел незаметно,

и я наконец потерял его из виду, как вдруг он объявился в Польше, в самый разгар военного положения, или, как тогда говорили, «Польско-Ярузельской войны». Издатели, подпольная еще в то время «Солидарность», прислали мне в подарок несколько копий, поразивших меня завидным качеством их подпольной печати. И даже теперь, четверть века спустя, когда я попадаю в Польшу, неизменно подходят пожилые уже теперь люди, просят надписать эти пожелтевшие, истертые книжки.

Проникнув же за железный занавес, закрутился кораблик по бурным водам Восточной Европы. То там мелькнет, то тут проскочит, уследить невозможно. Добрался и до России, успев как раз ко времени крушения советского режима. Помню, тогда меня немало беспокоило то, что в книге я назвал много имен и стукачей, и наследок, и следователей, да и просто людей сломавшихся. Подумал даже, не попросить ли редакцию заменить эти имена буквами. Наверняка, думал я, найдутся ведь теперь такие «мстители», что и разыщут, и обличат, и до детей их докопаются. Меньше всего мне хотелось, чтобы моя книга только добавила ненависти в стране, где уже и так накопились ее многие мегатонны. Не затем я писал ее, чтобы кого-то обличать и требовать к ответу.

Это ведь не обвинение, а свидетельство, причем свидетельство того, что в конечном счете все зависит от нас самих, ибо человек всегда свободен, всегда у него есть выбор и, стало быть, всегда он несет ответственность за происходящее. А уж коли сотворилось в нашей стране такое чудовищное зло, на каждом из нас есть крупица вины. Больше ли, меньше ли — кто это взвесит?

*Кембридж,  
декабрь 1989 — август 2007*

**И возвращается ветер...**



Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире.

Начинался обычный тюремный день, очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В шесть часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь: «Падъ-ем! Падъ-ем! Падъ-ем!» В серых сумерках камер зашевелились ээки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверхенных одеял, бушлатов, курток. Провались ты со своим подъемом!

Заорал репродуктор. Раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл Гимн Советского Союза. Холера его заеши, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва! Доброе утро, товарищи! Утреннюю гимнастику начинаем с ходьбы на месте». Черт, поскорее выключить! Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте.

Зимнее смурное утро и на воле-то приходит, точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, и этот день впереди — как проклятье. Недаром поется в старой арестантской песне:

Проснешься утром, город еще спит.  
Не спит тюрьма — она давно проснулась.  
А сердце бедное так заболит,  
Как будто к сердцу пламя прикоснулось.

По заснеженному двору от кухни прогрохотал «тюрьмоход» — тележка с бачками, повезли на разные корпуса завтрак. Слышно, как их разгружают внизу и волокут по этажам, грохоча об пол. Хлопают кормушки, гремят миски, кружки. Овсяная каша, хоть и жидкая, но горячая. Кипяток же и подавно хороший малый, старый приятель. Где-то уже сцепились, матерятся — недодали

им каши, что ли? Стучат об дверь мисками. Поздно, зазевались — завтрак, с лязгом и грохотом, словно битва, прокатился дальше по коридору в другой конец. Кто теперь проверит, кто докажет, дали вам каши или нет? Совать надо было миску, пока кормушка открыта.

Обычно по утрам, после завтрака, повторял я английские слова, выписанные накануне. Два раза в день повторял — утром и перед отбоем. Это вместо гимнастики, вместо ходьбы на месте, чтобы расшевелить сонные мозги. Потом, уже днем, брался за что посложнее. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка: «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого-то нам и не хватало, начался проклятый денечек. Собирайся, да тащись, да устраивайся на новом месте — пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут, вечная таинственность.

— Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду? — Это уже наша разведка. Если матрацы брать — значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать — значит, на другой, а куда? Если матрасовки брать — значит, на первый или на третий: на втором свои дают, и посуду тоже.

— Все забирайте с собой, — говорит неопределенно начальник, туману напускает. Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять, на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем, поволокнут на строгий режим, на пониженную норму. А может, просто шмон? Это вот не дай Бог, это хуже всего. Книжки у меня распаханы по всей камере на случай шмона, всякие запрещенные вещицы — ножичек, несколько лезвий, шильце самодельное. Все сейчас заметут.

И заматались все! У каждого же своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть — может, не найдут. В сапог тоже можно — да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги — пожалуйста. Батюшки, сапоги! Я же их в ремонт сдал.

— Начальник! Звони насчет сапогов — в ремонте у меня сапоги. Без сапогов не пойду, начальник!

Я этого ремонта два месяца добивался, жалобы писал, требовал, бился, только взяли — и на тебе! Вернуть бы живыми, не до ремонта теперь, все к черту полетело. Хорошо, хоть позавтракать успели — к обеду, может, будем уже на новом месте. Куда ж это, однако, нас гоняют?

Барахла у меня скопилось жуть, полная матрасовка. Казалось бы, какие вещи могут быть у человека в тюрьме? А и не заметишь, как оброс багажом. Освобождались понемногу ребята, уезжали назад в лагеря и бесценные свои богатства норовили оставить здесь, в наследство остающимся. Грешно увозить из тюрьмы то, что с таким трудом удалось протащить через шмоны. Каждая лишняя вещь — ценность. Вот три иностранных лезвия — за каждое из них можно договориться с баландером, и он будет неделю подогревать наших в карцере — три недели жизни для кого-то, может, и для меня. Тетради общие — тоже ценность, поди их достань. Три шариковые ручки, стержни для ручек, главное же — книги, не дай Бог шмон! Все это богатство скопилось у меня в опасном количестве, и никак я не мог исхитриться передать его кому-нибудь, кто остается дольше меня в тюрьме. Не попадал я с ними в одну камеру — не везло.

Но в общем-то похоже было, что просто переводят нас всех в другую камеру, а потому забрали мы и мыло, и тряпки свои, и веревочки всякие — на новом месте все очень пригодится, особенно если в камере раньше сидели уголовники. После них как после погрома: камера грязная, все побито и поломано, дня два чинить и чистить, мыть да скрести — и ни тряпок, ни мыла у них обычно не водится, поэтому даже половую тряпку забрали мы с собой.

Тьфу, ну, кажется, собрались. «Готовы?» — кричит начальник из-за двери. — Готовы!

Дверь открылась, и корпусной вдруг, указав на меня пальцем, сказал коротко: «Пошли со мной». Мать честная, куда же это?

Не иначе как в карцер. И, цепляясь в уме за всякие возможности и варианты, спросил я только: «Матрац брать?» — «Бросьте в коридоре». Так и есть, карцер. За что ж это? Ничего же не делал. Голодовку объявлю!

Спускаемся вниз, на первый этаж, поворачиваем не к выходной двери, а в коридор — так и есть, карцер! Нет, прошли мимо, идем по коридору. Значит, шмон, к шмоналке идем. Ну, холера, сейчас все отберут. Как бы им голову заморочить? Говорю первое попавшееся: «Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте!» — «Послали уже». Послали? Зачем же послали за сапогами, если только шмон? Может, этап?

Заходим в комнату для шмонов. Там уже шмонная бригада Петухова — ждут, как шакалы, сейчас все отметут. «Так, — говорят, — мешок положите здесь, а сами раздевайтесь». Раздели, как водится; оцупали каждую вещь по швам, в телогрейке одно лезвие было спрятано — не заметили, слава Богу, неделя жизни кому-то. «Одевайтесь». Выводят в коридор, запирают в этапку. Черт, значит, этап! Как же я потащусь со своим барахлом по этапу? Я и сам-то еле двигаюсь. И пропадет теперь все — на каждой пересылке шмон. Как обухом по голове. Куда бы это? Эх я, дурак, тряпку половую взял и мыло. Сапоги! Заиграют сапоги, потом ищи. «Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте!» — «Послали уже».

Надо хоть ребятам дать знать, но как? Этапка самая крайняя, надо мной никого, унитаза нет, кружки у меня нет, тьфу! Написал карандашиком на стене по-английски: «Этапирован неизвестно куда», фамилию и число. Но это мало — когда еще заметят? Надо бы крикнуть как-то. Может, в баню поведут перед этапом? Но вот уже открывается дверь — так скоро? А баня? Нет, идем к выходу. Поворачиваем за угол, идем к вахте. Ну, только здесь и крикнуть. Пятнадцатая камера как раз надо мной. Изю всех сил заорал я вдруг, аж Киселев отпрыгнул от меня со страху.

— Пятнаадцатая, Еггоор, меня на этап увозят! На этап забрали! Пятнаадцатая! — Тут они опомнились и втолкнули

меня в двери вахты: «Тише, что орешь? В карцер захотел?» Какой карцер... Ври, начальник, не завирайся, где ты меня на этапе в карцер посадишь?

В большой комнате на вахте — не то в красном уголке, не то в раздевалке для надзирателей — посадили на стул. «Сидите!» Тут появился наш воспитатель, капитан Дойников, какой-то сам не свой, торжественно-грустный. Я к нему: «Гражданин начальник, куда?» — тихо так, чтоб никто не слышал. Мнется, глаза отводит: «Не знаю, нет, право, не знаю. На этап». — «Да бросьте вы все темнить, тайны разводить — куда?» — «Честно, не знаю, не мое дело. Сказали, на этап — в Москву, наверно». Знает все, бес, по лицу видно. «А вещи мои?» — «Уже в машине». Неслыханно! Кто же это за меня вещи таскает, неужто конвой? Да, сапоги. «Скажите, чтобы сапоги принесли, сапоги у меня в ремонте». — «Принесут». — «Да как принесут? Уже на вахте, сейчас ехать!»

А он так тихо вдруг говорит: «Не нужны вам большие сапоги». Что бы это значило? Как так может быть, чтоб сапоги не нужны были? И я ему тихо: «Откуда же вы знаете, что сапоги не нужны, если не знаете, куда еду?» Смутился.

Не надо было этого говорить, и так понятно, что творится нечто необычное: этапы никогда с вахты не отправляют, а прямо внутрь воронок заходит, там и грузят. И вещи сами снесли, и сапоги не нужны, на волю, что ли, освободить, что ли, будут? А может — наоборот? Тогда тоже сапоги не нужны.

— Ну что ж, прощайте, не поминайте лихом, — говорит капитан. Ведут прямо к выходу на волю, открывают дверь. Оглядеться не дают — вокруг люди в штатском. А, КГБ! Понятно — не на волю, значит. «Сюда, пожалуйста, в машину». Прямо у ворот стоят микроавтобус и какие-то легковые машины. Снег утоптаный, темный. Где же воронок? Нет, сажают в микроавтобус — чудеса! Внутри, на заднем сиденье, лежит мой мешок в тюремной матрасовке. Окна плотно зашторены, вокруг кагебешники в штатском. Предупреждают: в дороге шторы не трогать, в окно не выглядывать.

Спереди, между нами и шофером, тоже шторки плотно задернуты, но снизу не прикреплены, болтаются — значит, на ходу будет трепыхаться, что-нибудь да увижу. Ждут еще какого-то начальника, он садится спереди, с шофером, хлопает дверца, колышутся шторки — тронулись. Развернулись, повернули еще раз, пошли.

Эх, черт, слышали ребята или нет? Должны были слышать — орал я громко. Куда же, однако, меня везут? В Москву? Дойников сказал — в Москву. Но мог и соврать. А куда же меня везти? Почему в микроавтобусе, а не в воронке? Почему не нужны сапоги? А что, очень даже могут. Завезут сейчас в лесок за городом и — при попытке к бегству...

Машина же наша неслась тем временем с сумасшедшей скоростью. Шторки спереди вздрагивали, развевались, и, к удивлению своему, я вдруг заметил впереди нас милицейскую легковую машину с мигающим фонарем на крыше. В ней два офицера милиции. Один, высунув из окна руку с палочкой, разгонял с нашего пути машины. Что за дьявол — может, случайное совпадение? Нет, минут через пять вновь сильно всколыхнулись занавески спереди, и вновь та же машина с тем же фонарем. Покосившись украдкой назад, увидел я равномерное мелькание света на задних шторках — значит, и сзади шла милицейская машина. А мы неслись и неслись вперед на предельной скорости, даже боязно становилось — не перевернуться бы, зима все-таки, скользко. И вновь на повороте взметнулись шторки, и все та же милицейская машина впереди. Сзади же свет мелькает непрерывно. Да, вот это чудеса! Так только члены правительства ездят. Никогда еще меня так не этапировали. Куда же это они меня?

Чекисты же мои переговаривались между собой, на меня взглядывали редко, только двое, что сидели с боков от меня, были настроже. И как ни взглядывался я в их лица да в дорогу впереди сквозь щель в занавесках — ничего не мог почерпнуть нового. Ну что ж, в лесок так в лесок — в Москву так в Москву, что я мог поделать, что предпринять? Ну, стало быть, и думать об этом нечего — что будет, то будет.

Оставалось мне сидеть совсем немного — всего каких-нибудь пять месяцев здесь, в тюрьме, а потом — в Пермскую область, в свой родной 35-й лагерь, примерно на десять месяцев. Это — как праздник, все равно что домой. Уже прикидывал я, кого застану из ребят, а кто освободится к тому времени. Глухо доходили новости от вновь прибывающих — что-то там в зоне делается, какие новые порядки, какое теперь начальство. Потом же, в марте 78-го, предстояло мне еще в ссылку. Эти вот несчастные пять лет ссылки раздражали меня больше всего срока, как ненужный довесок — ни то ни се, ни свобода, ни тюрьма. Да еще смотря куда пошлют, какая там будет работа, какое начальство. А то и хуже лагеря. Известно было, что из пермских лагерей отправляют на ссылку в Томскую область, а там известно что: повал, болота, глухомань, закон — тайга, медведь — хозяин. Из Владимира же шли на ссылку в Коми, и хоть Коми тоже не мед, тоже повал и болота, но как-то ближе к Москве — все-таки Европа.

Поэтому прикидывал я, нельзя ли еще раз исхитриться вернуться из лагеря во Владимир. Надежды было мало, ходили слухи, что по новой инструкции тех, кому осталось меньше года, в тюрьму не посылают. Предписано воспитывать на месте, своими средствами. Оставшиеся же пять тюремных месяцев расписаны были у меня вперед: какую книжку и когда я должен успеть прочесть. В лагере уже не считаешь — успевай поворачивайся. Да и в ссылке не до того будет. Когда же еще и заниматься, как не в тюрьме — и времени не жалко, все равно уходит даром.

Как ни кинь, выходило, что других университетов, кроме Владимирской тюрьмы, у меня уже не будет. Если даже не намотают мне нового срока, то выйду я из ссылки в 83-м году, и будет мне сорок один год — совсем не возраст для обучения. Да и на воле ничего хорошего меня не ждало. Это только

новичок, который первый раз сидит, — тот воли ждет да дни считает. И кажется ему эта воля чем-то светлым, солнечным и недостижимым. Я-то сидел уже четвертый раз и знал, что нет большего разочарования в жизни, чем освобождение из тюрьмы. Знал я также, что больше года мне на этой проклятой воле никогда не удавалось продержаться и никогда не удастся. Потому что причины, которые загнали меня в тюрьму в первый раз, загонят и во второй, и в третий. Они, эти причины, неизменны, как неизменна и сама советская жизнь, как не меняешься и ты сам. Никогда не позволят тебе быть самим собой, а ты никогда не согласишься лгать и лицемерить. Третьего же пути не было.

Потому-то, освобождаясь каждый раз, я думал только об одном — как бы успеть побольше сделать, чтобы потом, уже снова в тюрьме, не мучиться по ночам, перебирая в памяти все упущенные возможности, чтобы не казниться, не терзаться, не стонать от злости на свою нерешительность. Эти вот бессонные терзания были в моей жизни самым мучительным, и оттого короткие промежутки моей свободы никак нельзя было назвать нормальной жизнью. Это была лихорадочная гонка, вечное ожидание ареста, вечные агенты КГБ, дышащие в затылок, и люди, люди, люди, которых не успеваешь даже разглядеть как следует. Если ты встретился с человеком один раз и он тебя не продал, ты уже считаешь его хорошим знакомым, если два — близким другом, три — закадычным приятелем, как будто ты с ним полжизни прожил бок о бок.

А встретив человека в первый раз, неизбежно смотришь на него как на будущего свидетеля по твоему будущему делу. Неизбежно прикидываешь: на каком допросе он расколется — на первом или на втором? На каких его слабостях попытается играть КГБ? Робкий — значит, запугают, самолюбивый — постараются унижить, любит детей — пригрозят забрать детей в интернат. И смотришь ему в глаза вопросительно — выдержит

или не выдержит, когда припугнут сумасшедшим домом. Редко кто выдерживает. А потому не отягощай память ближнего излишней информацией, не ставь его перед необходимостью мучиться потом угрызениями совести. Ты прокаженный, ты не имеешь права на человеческую жизнь, каждый, кто коснулся тебя, рискует заразиться, и если ты действительно любишь кого-то — избегай его, сторонись, делай вид, что не узнал, не заметил. Иначе завтра ему на голову обрушится вся мощь государства.

И потому-то, втискивая 25 часов в сутки, растягивая неделю в месяц, ты должен сделать максимум возможного и даже невозможного, потому что завтра ты опять будешь в лефортовской камере и долго потом ничего не сможешь сделать — может быть, никогда. Опять будешь по ночам перебирать в памяти все, что упустил, что мог сделать лучше и сильнее, будешь казнить себя за нерасторопность. Ведь столько десятилетий люди ничего не могли сделать — даже плюнуть в морду тем, кто их убивал. И миллионы их сгнули, мечтая хоть чем-нибудь отплатить за свои мучения. А у тебя — была возможность кричать на весь мир, были друзья, на которых можно положиться, было время — что ты успел сделать? И миллионы мертвых глаз будут обжигать тебе душу укоризненными вопрошающими взглядами.

В Сибири мне рассказывали об одном способе охоты на медведя. Где-нибудь вблизи медвежьей тропы на сосне прячут приманку — обычно мясо с тухлинкой. А на ближайший толстый сук этой сосны привязывают здоровенную тяжелую колоду так, чтобы она заслоняла путь к приманке и притом свободно раскачивалась на канате. Медведь, чуя приманку, лезет на ствол и встречает на пути колоду. По своей медвежьей натуре он даже не пытается эту колоду обойти, а отодвигает ее в сторонку и лезет дальше. Колода, качнувшись в сторону, бьет медведя в бок. Мишка ярится, толкает колоду сильнее,

та, естественно, бьет его еще сильнее, медведь — еще сильнее, колода — еще сильнее. Наконец, колода бьет его с такой силой, что оглушает и сшибает с дерева. Примерно такие же отношения сложились у меня с властями: чем больший срок мне давали — тем больше я старался сделать после освобождения, чем больше я делал — тем больший срок получал. Однако и время менялось, и возможности мои увеличивались, и трудно было сказать, кто из нас медведь, кто колода и что из этого всего выйдет. Я, во всяком случае, отступить не собирался.

Выходило таким образом, что не только эти пять месяцев расписаны у меня вперед, но и вся жизнь: десять месяцев в лагере, пять лет в ссылке, потом — в лучшем случае — год лихорадки, называемой свободой, затем еще десять лет тюрьмы и еще пять ссылки. Это уже, кажется, мне будет 57 лет? Ну, еще на один круг мне могло хватить времени, а умирать выходило опять на тюрьму. Оттого-то и не ждал я ее, эту свободу, не считал дней и месяцев. Я сам себе напоминал того джинна из сказок «Тысячи и одной ночи», которого посадили в бутылку, — и первые пять миллионов лет он клялся озолотить того, кто его освободит. А вторые пять миллионов лет — уничтожить того, кто его выпустит. Во всяком случае, чувства этого джинна были мне понятны.

Была, однако, и другая причина, заставлявшая меня расписывать тюремное время вперед и каждую минуту использовать для занятий: сама тюрьма.

Человек, не дисциплинирующий себя, не концентрирующий внимания на каком-либо постоянном занятии, рискует потерять рассудок или уж, во всяком случае, утратить над собой контроль. При полнейшей изоляции, отсутствии дневного света, при монотонности жизни, постоянном голоде и холоде впадает человек в какое-то странное состояние,

полудрему-полумечтательность. Часами, а то и целые дни напролет может он глядеть невидящими глазами на фотокарточку жены и детей или листать страницы книги, ничего не понимая и не запоминая, или вдруг заводит с соседом бесконечный, бессмысленный спор на совершенно вздорную тему, как бы застревая на одних и тех же доводах, не слушая собеседника и фактически не опровергая его аргументов. Человек абсолютно не может сосредоточиться на чем-то определенном, уследить за нитью рассказа.

Странное что-то происходит и со временем. С одной стороны, время несется стремительно, поражая этим твое воображение. Весь нехитрый распорядок дня с обычными, монотонно повторяющимися событиями: подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой, подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой — сливается в какое-то желто-бурое пятно, не оставляющее никаких воспоминаний, ничего, за что могло бы зацепиться сознание. И вечером, ложась спать, человек, хоть убей, не помнит, что же он весь день делал, что было на завтрак или на обед. Более того, сами дни неразличимы, полностью стираются из памяти, и замечаешь вдруг, будто кто тебя толкнул: батюшки, опять баня! — это значит, семь, а то и десять дней пролетело. Так и живешь с ощущением, будто каждый день у тебя баня. С другой стороны, это же самое время ползет удивительно медленно: казалось, уже год прошел — ан нет, все еще тот же месяц тянется, и конца ему не видно.

Опять же, становится человек страшно раздражительным, если что-то нарушает его монотонную жизнь. Вдруг, например, с нового месяца водят гулять не после завтрака, а после обеда. Какая, казалось бы, разница, однако это доводит до бешенства, почти до исступления. Или поругался с надзирателем, или вызвал на беседу воспитатель, а ты с ним завелся — и вот уже не можешь ни читать, ни спать, ни думать о чем-нибудь другом. Строчки в глазах прыгают, мысли скачут, а тебя аж

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)